

Салыр-Гюль -3/ продолжение

Category: Kitarsu, Yol yozgylary
написано kitarsu | 24 января, 2025
Салыр-Гюль -3/ продолжение III.

ЧУЧВАННОСТЬ

Обычно очеркисты, странствующие по касательной к Востоку, путают термины: паранджа и чучван. Благая проповедь о снятии паранджи подходит к женщине и не с той стороны. Если даже женщина Востока и скинет паранджу, то лицо её всё-таки останется под чучваном. Паранджа – укрывает лишь затылок, шею и спину; её длинные рукава, спускающиеся до самых пят и связанные у кистей шнуром, столь уродливо вытянуты, что для пропорционально им выкроенного тела понадобился бы рост вровень с кровлями одноэтажного дома.

Чучваны, к сожалению, ещё не вывелись окончательно из быта старых узбекских городов. Наряду с яркими лицами узбечек, лицами, точно вылупившимися из чёрной скорлупы чучвана, нет-нет вдвигается в яркий день тёмная заплатка, заштопывающая наглухо лицо. Делается она из конского волоса, сплетаемого в очень частую сетку.

Чучван, разумеется, не жилец на новом Востоке. Пропаганда срывает его, как срывают старую афишу со старой отыгранной датой. Но не только пропаганда. Чучван отлипает от лица, сам отшелушивается от него, как старая кожа, уступающая место новой. Он слишком долго прятал – теперь настало время прятаться самому.

Но исцеление от этой надкожной болезни, от чучванности идёт постепенно, по определённым градациям.

Вот они: глухой чёрный покров, плотно закрывающий всё лицо; белый скупой узор по прямому краю, опускающемуся на грудь; такая же чёрная завесь, но с прорединками для губ и глаз; чучван, приоткрытый снизу, чтобы дать волю дыханию; сеть чучвана отодвинута к плечу, но при встрече с глазами мужчин лицо поспешно прячется под набегающую ткань; чучван отброшен

через голову назад – он треплется, как ненужный мёртвый придаток, всё ещё тянущийся вслед за открытым лицом; чучвана нет, – он снят, но при встрече с мужчинами лицо отдёргивается в сторону и ресницы – крохотными чучванами – прячут глаза; даже и ресницы не дают рефлекса при встрече с мужским взглядом, только на лице чуть-чуть... чучванное выражение.

Особенно мне памятен один чучван, встреченный на самаркандском базаре.

Это был порядком истёртый, порыжелый от солнца старый чучван; жирный и высмальцованный в своей надгубной части, он привлекал к себе базарных мух: облепив его сетку, напомнившую мне те проволочные колпачки, под которыми раньше прятали всякую снедь, мушья стая взволнованно зудела и совала свои хоботки внутрь, пробуя проникнуть в тайну чучвана.

Кстати. Хору наших очеркистов, столь красноречиво и многословно пишущих о вопросе ясном без слов, убеждающих в том, что не требует уже убеждений, надо бы вспомнить о своих музах. Восточная женщина сбросит своё покрывало, она его уже сбрасывает. Но почему иные – вовсе не восточные – музы до сих пор прячут своё подлинное лицо под чернильного цвета чучваном. Распропагандируйте своих муз, поэты. Не чучваном к правде, а лицом к ней.

РЕМЕСЛО

Узбекский глагол «иок кылмак» (joq qylmaq) переводят обычно: истреблять.

Дословно пришлось бы так: делать из есть нет.

Этим и занимались Александры Македонские, Чингисханы, Тимуры и Надир-беги-ханы. Истребление, делание из есть нет, было их ремеслом. Горе городам, к которым близились «царь и его пыль» (так одна старинная хроника называет войско, предводимое завоевателем). И недаром разрушенная стена Афросиаба – предка Самарканды – носила имя «стены последнего суда» (дивари-и-Кыямат). Надо отдать справедливость воителям, чьи войска маршировали из Согдианы в Бактриану и обратно: своё ремесло истребления они совершали с величайшей тщательностью. Города

сжигались дотла, стены истирались в пыль, жители убивались поголовно – до детей, рождённых и вчревных, включительно. Впрочем... И тут дань справедливости была бы недоданной, если не упомянуть о следующем обстоятельстве: ремесленники меча уважали соремесленников. А именно: профессионалов шила и дратвы, молота и клещей, иглы и ножниц. Как многократно рассказывают нам историки, завоеватели древности, истребляли всех и всё, – всегда щадили кузнецов, слесарей, каменщиков, кожевников, башмачников, портных. Они нужны были им, как воинствующим муравьям запрятанные под примуравейниковую кору тли. Калыч против калыча, меч против меча, был неверной и недолгой защитой, но шило успешно парировало меч, сохраняло жизнь – правда, ценою рабства. И, конечно, роды ремесленников, передававших своё искусство от отца к сыну и от сына к внуку и правнуку, – самое древнее в этом много раз кряду омытом начисто кровью краю. Генеалогическое древо иного плотника, наверное, высоковершиннее и корнистее, чем иного сайда или бека. Но плотники имеют дело со всеми видами древ, кроме генеалогического. Так, раздумывая, я вышел – в одно из утр – на площадь перед Тилля-кари. По одну сторону выводящей арки приютился «моментальный» фотограф, снимающий на арабесочном фоне мадрассы, по другую – расставивший на ковре свои калямы и свёртки бумаги наёмный скриба, строчильщик просьб и кляуз. Прежде чем выйти из полосы тени, я выбираю меж «налево» и «направо».

Если направо, то за последней дверью Кари, приглашающей в Комстарис, несколько ступенек вниз, а дальше бесступенный наклон улицы, вдоль которой – вперемежечной чередой – зергеры и этикчи, ювелиры и сапожники.

Сапожники, хоть они и под раскалённым солнцем, всё-таки холодные сапожники.

Из крохотных обрезков, кожаной рвани и истёртых насмерть подошв, этикчи, следуя технике лоскутного одеяла, слоскучивают башмаки и туфли. Под весёлый приступ молотков, из множества слагаемых быстро вырастает сумма. Песне, подпрыгивающей под барабанный ритм молотков, над горлом, нельзя, не уколовшись, протиснуться сквозь губы, забитые деревянными гвоздочками, и

поэтому ей приходится выбираться наружу сквозь ноздри, гнусавым ??; (нг).

И рядом, весело задрав носы, стоят в ряд наскоро склёпанные, вновь готовые плыть по пылевому морю Самарканда туфли.

А если налево... – иду налево. Там ещё не все их пространства в память.

Пересекаю начинающийся меж стен Тилля-кари и Шир-дора базар, стараясь не задерживаться у подстилающихся всюду под шаги ковров, заваленных снедью.

Впрочем, у одного из довольно пёстрых расстилов любопытство к любопытству других заставляет меня замедлить шаг. Ковёр, вокруг которого сгрудились два ряда непокупающих покупателей, продаёт не то, что на нём, а самого себя.

Ковёр как надо, что говорить, хорошей цены стоит ковёр, но... – и кандидаты в покупатели сожалительно причмокивают и покачивают головами – как на похоронах: в углу – нет, не в этом и не в том, а вот здесь чуть поистёрто.

Продавец спорит: истёрто? ха, так это же пыль. Совсем новый ковёр. И, сорвав с бритой головы шапку, он отчаянно трёт ею, стараясь стереть истёртое место.

Шея его набухла и покраснела от усилий, но в толпе смех: тащи в тень и продавай слепому, а тут... и два-три пальца показывают на солнце. И действительно, расшвыривающее пригоршнями золото своих лучей солнце не хочет бросить выбившемуся из сил продавцу хотя бы один лишний пул. Круг людей вокруг ковра рассеивается, но продавец, наклонив своё мокрое от пота лицо, всё ещё трёт – уже механическим движением – нестираемую протерть ковра.

Но кому как. Неподалёку чистильщик сапог. Стряхнув пыль с подставленного ему ботинка, он накладывает указательным пальцем на кожаном подъёме один крупный мазок мази. Затем, откинувшись, позёвывает и ждёт. Солнце, точно нанявшееся к нему в подмастерья, в несколько секунд расплавляет и мелкими струйками размазывает мазь по всему ботинку. Теперь и мастеру, после передышки, можно браться за свои щётки.

Но ремесло не любит открытых площадей. Оно обычно окантовывает базар своими прижатыми друг к другу карханами (мастерскими).

Кархана – это прямоугольный, почти квадратный ящик, величиной в семь-восемь раз больше гроба, поставленный на один бок и не прикрытый крышкой.

Какие-нибудь ишачьи подковки изготавливаются с той же наглядностью, как и шашлык (кебаб). Покупатель может наблюдать, как на его глазах сырое мясо разрезается на куски, потом шипит на жаровне и проворачивается на узеньких вертелах, а сталь накаляется докрасна, догибается и подправляется молотком; потом на шашлык машут кожаной лопаточкой, а сталь холодят – и подковы и блюда готовы: можно есть или подковывать тут же дожидающегося флегматического ослика.

Остановившись перед тем или иным из опрокинутых коробов с ремесленником внутри, нелегко оторвать глаза от рождающейся вещи. Вот положенный на выступ доски медный кувшин. Его горло вздуто зобом, а круглый рот топырится наружу.

По медной губе кувшина и бьёт молоток. От каждого удара кувшин отдёргивается на миллиметровый интервал и получает новые и новые удары, постепенно окаймляющие чередованием вгибов и выгибов его края.

Вот седельник. Он стягивает ивовые прутья поперечными связями, затем туго заматывает их в кожу и закрепляет кожаный чехол множеством мелких гвоздиков. Через короб ещё седельный мастер. Здесь прутья уже до конца затиснуты в кожу, выгнуты заостряющейся книзу дугой и крепко связаны у концов. Хомут почти готов. Остаётся только растянуть его отверстие и уточнить форму. Для этого в лавке помещается особый пень, который отёсан так, что ему придана форма омикрона, к основанию постепенно расширяющего свой контур. Хомут напаян на пень, и седельщик, вскочив на раздужья хомута, пляшет на нём голыми пятками, наплясывая требуемый размер.

Вот изготовитель пятипалых вил. Прямая деревянная рука и виловое запястье с пятью короткими врезанными ножом выступами готовы. Теперь надо подвязать пальцы. И пальцы ремесленника, проворно перебегая от ящика с грудой сваленных в него деревянных пальцев, быстро прибирают, прилаживают и прикручивают лозовыми нитями дерево к дереву. Проворство, почти пианистическая беглость работающих пальцев, по сравнению

с распрямленной неподвижностью пальцев сработанных, разительна. Такая техника может быть в фаланги лишь выграна множеством дней труда.

И куда ни взглянешь – всюду искусность, доведённая до своего предела.

Но что даёт эта ремесленная виртуозность самим виртуозам молотка, шила, клещей и резака? Грязный короб карханы, рваный халат, несколько щепоток наса в день и кусок серо-жёлтого, похожего на мыло, сыра, валяющегося тут же вместе с инструментами, обрезками и опилками. Традиционное ремесло, передающееся от поколений к поколениям, древний ушталык Узбекистана осуждён на гибель. Весь этот инструментарий дотимуровых времён, прапрадедовские точильные ремни, навёрнутые спиралеобразно на вал и вращаемые двумя руками, какие-то старинные бронзовые наковальни, ветхие крюки и прикрючья – всё это не может бороться с машиной, бессильно против неё, как кремневое ружьё против пушки.

Эта остановленность традиционного мусульманского искусства и искусства равна выключению его из жизни. Культуры, слишком быстро нашедшие себя, тем самым себя теряют. Они выпадают из дальнейшей истории.

В Бухаре есть мавзолей Исмаила-саманида. Там же стоит медресе Абдулла-хана. Их отделяют друг от друга узкий переулок и семь веков (X и XVI). А между тем оба одинаково прекрасны. И в этом «одинаково» – смерть: от прекрасности.

В течение этих веков рождались новые строители и новые постройки. Но строители эти были лишь душеприказчиками искусства. Они выполняли завещательную волю, отдавая работу и жизни посмертным произведениям архитектуры X века.

Однако, скитаясь по базару, нельзя позволять мысли отлучаться от окружающего. Вот я и опрокинул носком сапога какую-то миску с брызнувшими из неё вразбег медяками. Потревоженный нищий кричит мне вслед, ловко промодулировав из минора в мажорные выклики.

У поворота стены, возле маленького ослика, только что освобождённого от тяжести двух корзин, наполненных белым луком, и двух людей – дехканина и его жены, собралась кучка

зевак. Среди них и дети. Старик в пёстрой чалме, с видом заправского маддаха, рассказывает какую-то, очевидно забавную, историю. Слушатели поддакиваяще качают головами и улыбаются. Заметив моё непонимание, какой-то плечистый узбек, благожелательно повернувшись ко мне, объясняет. Другие – в моменты нехватки слов – помогают рассказу, кто фразой, кто словом, а кто и жестом.

– Это так – эртек, сказка.

– Почему у ишака длинные уши.

– Ха.

И постепенно – общими усилиями – им удаётся втолковать мне сюжет. Вот он.

У первого ишака – прапрадеда всех ишаков – уши были как уши. Но зато упрямство было ещё длиннее... то есть не больше чем теперь. Поэтому хозяин, идя за ишаком, должен был подгонять его палкой. Ишаку не нравилось ни ходить под грузом, ни слышать, как палка ходит по нём. И вот однажды, оставшись наедине с палкой, он ей сказал: «Почему бы тебе не выбрать другое место для прогулок; правда, рёбра мои кривы, но улицы Самарканда ещё кривее». Палка отвечала: «Я бы и сама предпочла быть третьей ногой старого муллы, идущего в мечеть, чем погонять четыре ноги ишака, идущего на базар. Но бью не я: мной». «Так как же нам быть, – спросил осёл, – чтоб реже встречаться?» «А вот как, – отвечала палка, – наймём в сторожа воздух – пусть он свистит всякий раз, когда мной размахнутся. И ты убегай. Приятнее ударять по мягкой пыли, чем по ишачьему ребру». Воздух согласился, и они стали делать, как было условлено. Перед каждым ударом палка предупреждала воздух, воздух свистел, и ишак отпрыгивал. Но ничего не выходило. Пока палка успевала сказать воздуху, пока воздух складывал губы, чтобы свистнуть, пока свист доходил до ишачьего уха и пока ишак успевал отпрыгнуть, рука хозяина настигала бок и удар попадал туда, куда хотел попасть. Тогда стали совещаться все четверо: ишак, палка, воздух и свист. Свист сказал: «Я бы, пожалуй, успел обогнать руку, если бы мне не так далеко было бежать». Тогда палка, подумав, сказала так: «Если я пододвинусь к ишаку ближе, то моё ближе, боюсь, перегонит

ближе свиста; воздух всюду – и ближе и дальше, – а где воздух, там и его губы, а там, где его губы, там и свист.

Значит, мы ничем не можем помочь ишачьему уху, придвигаясь к нему: надо, чтобы ухо само выходило навстречу свисту, и тогда всё уладится». «Но как же уши могут ходить навстречу звуку, – спросил осёл, – я этого не понимаю». – «Очень просто, – отвечала палка, – мы, растения, понимаем это лучше других. Мы знаем, например, как ходить навстречу солнцу. Ходить это значит расти. Надо научить твои уши ходить». – «Туда и обратно?» – «Нет, мы – растения – никогда не ходим обратно: ведь каждую минуту из-за облака может показаться солнце, надо быть всегда готовым его встретить; так и тебе – каждую минуту может упасть удар, стоит уху повернуться к нему спиной и уйти обратно, как спину (не его, твою) посетит боль». Палка вспомнила то время, когда у неё был корень, пивший воду из арыка. И она научила ишака, как растить уши. Теперь он не пропускал ни одной лужи, чтобы не остановиться перед ней и не опустить уши в воду. И постепенно уши ишака стали длинниться. Настал наконец долгожданный час, когда ухо, вышедшее навстречу свисту, уловило его раньше, чем палка успела домахнуться до рёбер. Все были довольны. Кроме человека. А человек хитёр: видя, что длина ишачьих ушей побеждает длину его палки, он придумал такое. Нагрузил ишака, сел ему на спину вторым грузом, а позади на крестце посадил жену. Он не забыл также взять с собой и палку. И бедному ишаку длинные уши теперь ни к чему. Он не только должен нести на себе тяжесть гружёных кошм, хозяина, хозяйку, палку, но ещё и её свист в ушах. И ишак разгружается, как может: хозяина не сбросишь, только прибавится ударов на рёбрах, хозяйку тоже (она крепко держится за две спины), палку тоже (она зажата в руке), и ишаку только и остаётся, что вытряхивать из ушей свист. Всё-таки легче. Вот почему он всегда прядает ухом. Что ж, всякий помогает себе в пределах возможного. Но ишаку не нравится мой рассказ – видите, как вытряхает он его из своего слышания. Ну, а вам?

СОСЕДИ

Сегодня, начав свой день ещё до света, я иду путём гробниц. Сперва довольно длинная прогулка по Енгийолу (Новой дороге) к гробнице (и медресе) Ходжи Ахрара, потом обратный путь под успевшим нагнать меня зноем, и краткий прощальный визит к шестисотлетнему мертвецу, Тимур-ленгу, принявшему меня лёжа, под нефритовым одеялом, в своей мрачной, под цвет его темпераменту, усыпальнице. Потом гигантские древка знамён Рухад-абада, безлистными деревьями смерти вытянувшиеся под самый яйцевидный купол абада (место вечного отдохновения). Далее – мимо распавшегося в каменную труху надмогилия Биби-ханум (что против мечети её имени) – к подножию Шах-и-Зинда. Шах-и-Зинда – это целая череда погребальных склепов, точно в обгон друг другу, вскарабкивающихся по крутому склону холма, в смерть. Марши ступенек помогают следовать по иссохшему руслу прошлого, от одной гробничной арки к другой. Тут довольно пёстрый набор тлена: сестра Тимура, кое-кто из эпигонов, шедших вслед за «железным хромцом»; наконец, на гребне холма полулегендарный «шах-и-зинда» (живой царь) Кусаибин-Аббос, родственник и современник Мухаммеда, якобы впервые принёсший на эти мёртвые теперь холмы его религию.

Вот они, когда-то носившие на себе груз городов, пустые теперь холмы Афросиаба. Стоит сделать два-три десятка шагов, и вместо мозаичного пола мазара бин-Аббоса под ногами растрескавшаяся поверхность древнего городища.

Оно – почти до того места, где линия горизонта совпала с огибающим Афросиаб Сиабом – покрыто мелкой сыпью могил, обыкновенных, не мазаризированных могил. Именно эти, из иссохлых комьев вывороченной заступом земли могилы и строили великолепные могильники ханов, шахов, бохадуров, ходжей и саидов. Но вместо Голубеющих камней мазарного свода над ними общий для всех пыльно-голубой купол; вместо звездчатого орнамента и зелёной вязи линий стен и пола мазара вокруг них бледно-зелёный извив и иглы мизерной верблюжьей колючки, джантака. Я пересекаю по прямой поросший смертью мёртвый город и выхожу на Ташкентскую дорогу. Здесь, у её обочины, я вижу пасущегося верблюда. Его брюзгливые губы терпеливо жуют джантак, густо припыленный пылью. Его шея, выгнутая, как знак

интеграла, неотрывно наклонена к иглам джантака. Точно он пробует пройти в ушко каждой из игл; но кончается тем, что не верблюд сквозь иглу, а игла сквозь верблюда.

Усталость торопит меня назад – из-под зноя в прохладу моей хуждры, – но она же замедляет мой шаг. В результате я с трудом добираюсь до Регистана.

Но тут в память всплывает уже несколько дней кряду мучающая меня строка путеводителя: «к Ю. от Регистана, в ста шагах, находится гробница шейбанидов, известная среди населения под именем Чиль-Дукторон». Я затратил несколько тысяч шагов на прохождение этих ста шагов. И всякий раз переулки запутывали меня. Чиль-Дукторон, «Сорок Дев», гробовой восьмидесятиножкой ускользала от глаз.

Решаюсь. В последний раз. Спрашиваю пожилого человека в белой чалме муллы (я заметил – они лучше других знают топографию старины). Спрошенный недоумело оглядывает меня: мой измученный и пропыленный вид красноречивее просьб.

Кивнув, он молча ведёт меня кульбитами переулков. Стараюсь запомнить их повороты, чтоб выбраться потом обратно. Но раньше, чем я успел отсчитать четыре «налево» и три «направо», мы уже у цели. Ворота. На них доска Узкомстариса: Чиль-Дукторон.

Но ворота плотно сомкнуты, и на них висячий замок. Ключ? Стучу в дверь глиняной хибарки, прислонившейся к краю высокой саманной стены, спрятавшей гробницу. Дверь открывается. Из полутьмы, вместе с запахом грязи и юфти, жёлтое с провалами глазниц и щёк лицо. Вероятно, сапожник. О ключе он ничего не знает. Иногда приходят, да, открывают ворота, потом закрывают и уходят опять. Но я твёрдо решил, если не ногами, то хоть глазами пробраться внутрь. Пробую вскарабкаться на стену. Но не за что уцепиться – обрываюсь.

Видя мои усилия, сапожник сочувственно, даже жалостливо, качает головой.

Спрашиваю, не найдётся ли лестницы? Нет. Ну хоть бы табурета. Сочувственник опускает глаза и молчит. И тут, заглянув внутрь его тёмного короба, я вижу всю неуместность вопроса. Под плоской, из обмазанных глиной плетёнок, кровли такой же

плоский пол – и всё. Ни стола, ни скамей, ни лежанки. Только в одном углу настил из рогожи, а посередине какой-то задымленный казан, несколько инструментов и обрывков кожи. Я готов уже отступить, но хозяин лачуги предлагает использовать вместо лестницы поперечные перекладыны двери.

Снимаем её с петель и верхним концом – к стене дукторона. Он поддерживает доску, я с трудом, после двукратной неудачи, всё-таки взбираюсь на стену.

Внизу в глубокой яме, заголившей кирпичный фундамент, свалены в груды ребристые из почерневшего мрамора надмогильные плиты. Считаю: двадцать – двадцать два – двадцать восемь. Меж плит проросли крапивы и ещё какого-то сорняка. Спускаюсь назад. Водворяем дверь на место. Извинившись в причинённом беспокойстве, поворачиваюсь, чтобы уйти. Но бедняк останавливает меня вопросом:

– Там за стеной что смотрел?

– Как, разве вы ни разу не видели?

– Нет.

– Ваши соседи – цари Шейбаниды. Лет четыреста тому назад им принадлежала вся страна. Все камнетёсы, кузнецы, плотники, сапожники – как вот вы – работали тогда на них. Тут их должно бы быть около сорока, но на самом деле...

Сапожник, махнув рукой, равнодушно отворачивается от стены.

Попрощавшись, я ухожу. Переулки благополучно выводят меня на площадь.

Из всего классического пантеона, в сущности, больше всего прав на бытие у Немезиды. Всё, насильственно вторгшиеся в память народа, естественно, этой памятью и отвергаются. Все эти шейбаниды умирают дважды, попадают под двойной поворот ключа забвения: сначала умирают они сами, потом начинается умирание их гробниц. Я не всё рассказал сапожнику. Гроба шейбанидов, первых узбекских властителей, тяготевших над страной более сотни лет, поросли не только сорняком, но и легендой. Легенда эта, превратившая полководцев в «Дев», рассказывается так. Некогда жил человек, изучавший звёзды. Издалека ему прислали ценный и редкий астрономический инструмент. У изучателя звёзд было сорок дочерей и один сын. Он запретил им всем, грозя

смертью, прикасаться к прибору. Дочери были нелюбопытны, но сын, которого притягивал таинственный звездомер, как-то в отсутствие отца стал поворачивать его колёсики, пересекающиеся круги и трубу. Нечаянное движение сломало инструмент. Боясь наказания, брат просил сестёр спрятать его. Те сделали, как он хотел. Разгневанный отец, увидев, что прибор испорчен, стал вызывать одну за другой своих дочерей, требуя раскрытия виновника. В ответ череда из сорока молчаний. И сорок смертей: отец не пощадил ни одной из ослушниц.

Легенда груба и примитивна. Это быль, данная вразбивку и перемешанная с небылью. В начале XVI века жил действительно царь и астроном мирза Улугбег, но он не был из рода шейбанидов и не убивал своих детей, а, наоборот, сам был убит своим внуком, захватившим престол. Следы его астрономической обсерватории недавно отысканы в окрестностях Самарканда. Следы легенды теряются в смутном и спутанном, от поколения к поколению искажаемом, воспоминании. Так или иначе, но и с легендами шейбанидам не повезло. Но легенд нельзя искать на пути могил. Трудно улавливаемая тропа легенды может быть найдена не столько видением, сколько угадкой. Если история требует, как говорят, «чувства истории», то легенда ещё требовательнее. Легенды, как и растения, растут лишь по ночам. Следование за этими странными образованиями и исследование их, возможно при наличии как бы особого легендоскопа, мозгом, улавливающим сквозь историческое «было» столь же историческое «могло бы быть». Малейшее нарушение этого аппарата – и погибают сорок сороков легенд, дев, не родивших... факта.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НЁБУ

Бюргер из немецкого анекдота, удивлявшийся, откуда господа студенты узнали имена звёзд, разумеется, наивен, но не на все сто.

Хорошо, когда ощущаешь звёздные точки на расстоянии световых годов. Но когда в прозрачные самаркандские ночи ощущаешь звёзды странно приблизившимися, не щурящимися сквозь мировое пространство, а глядящими на тебя в упор расширенными

изумрудными зрачками, – появляется чувство некоторой астрономической неловкости. И помнится, я не раз жалел, что «Путеводитель по небу» (Покровского) остался там, в Москве, на нижней полке.

Но если общаться с людьми ли, с звёздами, не зная или путая их имена, невежливо, то знакомиться с кушаньями чужой страны, заходить в этом знакомстве так далеко, что даже съесть их, не интересуясь при этом их именами – это уже попросту хамство. По приезде в Самарканд я постарался тотчас же завязать самые дружеские отношения с жителями жаровен, разогретых казанов, сковород, горшков и вертелов.

Они, мои новые знакомцы, не хватали грубо за полы, как это делают порой их продавцы, а осторожно брали за ноздри, прося остановиться. Запахами, шипением, бульканием, скворчанием они всячески к себе зазывали, себя не называя.

Поэтому пришлось прибегнуть к такому методу. Присев на корточки возле незнакомого мне кушанья, я просил продавца его назвать имя снеди. Те обычно удивлялись: едят ведь не имена. Но я настаивал. В результате небо получало новое вкусовое ощущение, а блокнот новое имя.

Со временем я собираюсь написать пространный «путеводитель по небу». В него войдут все гастрономические импресии, какие может дать восточный базар. Но здесь я притронусь только к нескольким клавишам того широко диапазонного инструмента, какой представляет собой даже теперешний, требующий настройщика самаркандский базар. Ведь иные из клавиш западают, иные струны фальшивят. Так классическое поляу (плов) детонирует из риса в крошеную морковь (за недостатком риса).

Итак, в путь. Голод при мне. Фляга тоже. Зачем фляга? Видите ли, баран даже после смерти превращается в бурдюк, полный вина, а все здешние яства так пробаранены, что если время от времени не смывать жир с губ глотком из фляги, то... Ныряю под вывеску Узбвинторга. К вывеске прислонен плакат, изображающий человека, утонувшего в бутылке. Мертвец синь и вздут, изо рта его кверху пузыри. Но это никого не пугает. Водку здесь cedят прямо из бочек. Во что угодно и сколько угодно. Можно принести бутылку, кувшин, консервную коробку, ведро и положить на

стойку десять червонцев, червонец, рубль, полтинник, двугривенный: кран откроется или приоткроется и отольёт или откапает копейка в копейку. Я видел однажды нищего, который, подойдя к бочке, высыпал целую грудку медяков; здесь было не менее двухсот скудных человеческих состраданий, быстро и точно превращённых сидельцем в капельно-жидкое состояние.

Разминувшись с утопленником, выхожу на базарную площадь.

Прежде всего надо приобрести нан. Наны лежат друг на друге как граммофонные пластинки: это плоские «лепёшки», как тщательно выговаривают продавцы, не жалеющие трёх ударений на одно слово. Желтовато-белая поверхность нана в лёгком точечном узоре. Если разрывать это хлебное колесо на ломти, то оно легко вкатывается в желудок. Вот у стены всхлипывает.

Захлебываясь в своём собственном жиру, беш-бармак. Беш-бармак по-узбекски значит «пять пальцев». Впрочем, едят его всеми десятью, пуская в ход обе «адамовы вилки». Блюдо получается от тесного союза теста и мяса: сначала вываривают из барана жир, и в тот момент, когда мясо готово им захлестнуться, тесто бросается на выручку, ныряя в жир; затем друзья дают себя – друг ради друга – резать на куски, с тем, чтобы после любовно смешаться в единый беш-бармак.

А вот баран в задумчивом посмертном одиночестве. Он лежит в монументальном казане, подпёртом железными колонками; под тушей медленный приглушённый огонь; только редкие жирные слёзы каплют на дно казана – покойный сдержанно оплакивает себя самого; над гордо выпяченным курдюком белый – под цвет ему – бумажный свод, архитектурно завершающий мавзолеем кося. Из курдюка, взятого отдельно, можно изготовить особое блюдо, так называемое думбе. Но не будем отвлекаться.

Если дать человеку, стоящему на страже у бараньего мазара, рубль или два, то он отрежет вам: кусок? нет – так бы сделали у нас в Москве, на Болоте – самаркандский же баранопродавец отрежет или оторвёт пальцами целую серию крохотных кусочков, почти невесомых сувениров о самых различных частях бараньей туши.

Рядом с коём, на огромной чёрной сковороде расположилась целая семейка четырёхногих чучвере. Это нечто, напоминающее наши

пельмени. Но мучнистое тело чучвере сложено несколько иначе, чем у сибиряка-пельменя. Приземистый чучвере задирает все свои четыре припудренные мукой носика прямо в зенит.

Пересадка: со сковороды на тарелочки, расставленные вокруг неё. Чучвере разлучают. Тщетно они цепляются прижаренным подом за сковороду. Грубые толчки вилкой в бок, щепоти красной перечной пыли, посыпанной на головки осуждённых, вслед разбрызг капелек кобыльего молока – и чучвере отдадут на съедение дожидаящимся их человеческим ртам.

Однажды мне довелось наблюдать самый весёлый способ изготовления чучвере. Это было в одной ашхане. Пилавчи, стоя перед рубленным мясом и тестом, левой рукой отщипывал клочок мяса, правой сворачивал раскатанное тесто в мешочек, вбрасывал в него мясо и отряхивающим муку движением ударял ладонью о ладонь: получался как бы короткий аплодисмент своему искусству. Но сейчас он у меня ассоциировался с лермонтовскими «рукоплесканиями» широкой арены. Песок базарной арены мягко стелется под шаги.

Вот ещё гастрономические вариации на тему: баран. Резкий крик: «беррэ кебаб» заставляет меня оглянуться: разрезанный на шашлычные куски молоденький барашек резво кружит на вертелах. Неподалёку в тяжёлом котле, прикрытом конусовидной крышкой, напоминающей шапку дервиша, зреет казаний кебаб, облизываемый снизу жёлтым копотным пламенем. Этот вариант – из больших неповоротливых кусков, густо пересыпанных луком.

Дальше пряный запах маленьких пухлых пирожков, начинённых всячиной: это подбодряющий уже еле волочащий за мной ноги аппетит острый гош. Рядом тёртое из гороха с какими-то кислящими её примесями зелёно-жёлтое лобио. Можно и ложечку лобио. Но вот долма, находящаяся если не в родстве, то в свойстве с нашим голубцом, или кифта, приготовленная из особым образом битого мяса; одетая в пар шорба, не могу, как ни просят настойчивые завывания продавцов.

Среди этих призывов к нёбу особенно выделяется один – жалостливый и длинный: «мазалеек» – запекает лирически голос подростка, сидящего над своим блюдом. Мазалеек ссыпан в кучу прямо на циновку, меж двух босых пяток продавца. Это небольшие

овальные кусочки мяса, выкатанные в сахарной пыли.

Продаются они десятками. Покупатели, роясь в куче мазалековых облепков, тщательно и терпеливо подбирают десяток пожирнее. Затем идёт пересчёт. После проверка продавцом. Облепки переходят из пальцев в пальцы, возвращаются назад в кучу и снова попадают на потные ладони. Сахарная пудра уже частью обсыпалась, частью перемешалась с базарной пылью.

Фляжка на ремне стала чуть легче. Ещё чего-нибудь сладкого и назад – в прохладу хуждры.

Вот белая пузырящаяся, лёгкая иншалла. Это белки, взбитые особым образом с сахаром. Пузырьки надо прикрывать тенью, чтобы они не растаяли на солнце, прежде чем им растаять в чьём-нибудь рту. Вот приближается один маленький, заранее облизывающий рот. Мальчишка сует иншаллальщику пятак и протягивает указательный палец. Продавец, взглянув мельком на монету, снимает ложкой немного просахаренной пены и намазывает её на вытянутый палец покупателя.

Палец ныряет в рот и возвращается без иншаллы.

Но ещё лучше на сытый желудок рахати-джан, что значит «душа сладости».

Изготавливается рахати-джан просто: из пористого снега, собранного с гор, и сахара.

Вокруг горы узума разных калибров – от крупноягодного до мелкого, славящегося своей сладостью. Здесь же на циновках и досках жёлтые россыпи урюка. Сладкий зазывный голос, напевно предлагающий отведать «миндальский халва». Маленькие пёстрые из странно скрученных леденцовых нитей нананы.

Довольно. Домой. Но навстречу мне оборванный нищий старик. Его протянутая за подаянием рука не пуста: в ней на деревянной ручке дымится круглая жаровня. Свободная рука нищего, порывшись в лохмотьях, вынимает какую-то зелёную щепоть и бросает на угли. Синий дым взвился над жаровней и снова опадает. Это продавец запаха. Я вижу: женщина с лицом, спрятанным под чучван, подошла к продавцу благовония, и, дав ему монету, слегка отстранила покров. Синий дымок, выгибаясь спиралью, юркнул под чёрную свесь. Чучван опустился. Продавец и покупательница продолжают свой путь. Но я кончил.

Сытый до отвала желудок хочет привалиться в мягкое и уснуть. Наконец-то голова на подушке. Вокруг прохлада двусветной кельи. Перед тем, как заснуть, вспоминаю – сквозь полуявь – недавнее базарное квипрокво.

На глаза мне попались жёлтые треугольнички из теста с запрятанными под тестовую кожу какими-то таинственными пузырьками. Три раза спрашивал я женщину, продававшую неизвестную снедь, как называются непонятные пузырьки. Женщина или не понимала, или не умела, или не хотела назвать. Я упорствовал.

Разговор привлёк внимание соседей-продавцов. После нескольких оживлённых с ними консультаций, женщина наконец понимающе улыбнулась и повторила несколько раз кряду: «гар-рох, гар-рох». Так как я был сыт, то завернул несколько треугольников в бумагу и отметил в блокноте: гар-рох. Через два «р» и с ударением на втором слоге. Через некоторое время, уже придя домой, я решил отведать гастрономическую новинку. Сунул треугольник одним из углов в рот и откусил: из-под зуба весело выпрыгнула зелёная горошина.

Так я был посрамлен в собирании фольклора нёба.

МЕЙДЭ-ЧУЙДЭ

Человек сидел перед квадратным ящиком, наполненным грудой ножей. Точнее, кинжалов. Ещё точнее: ножами-метисами, помесью кинжала с простым кухонным ножом. Одни в простых одноухих ножнах, другие в тиснёном полусафьяне, одни по самую макушку эфеса нырнувшие в кожу, другие любопытствующие, выставившие рукояти наружу.

Я подошёл и притронулся к одной из рукоятей: канча? Продавец поднял в ответ руки, как для намаза, распрямив все десять пальцев. Я перевёл глаза на другой нож, поскромнее. Левая рука торговца упала вниз. Глаза мои перепрыгнули на короткое лезвие, выставившееся из чёрной кожи – и тотчас же ладонь, подогнув мизинец, услужливым четырёхпалием пододвинулось к ящику: этот?

Продавец играл на груди лезвий, как на терменвоксе,

причудливую мелодию цен.

Виноградным гроздьям здесь обдёргивают виноградины, нет, собственно, не у гроздий, а у рубля отрывают лишние копейки, пока не получится единица без дробей: бир пул. Даже в самом узбекском языке, в следовании его слов, название знаменателя дроби, всё идёт впереди числителя, части. Не «две седьмых», а «семь с двумя» (jettiden iki). Как не вспомнить известную гравюру английского мастера, изображающую сэра Фальстафа с мальчиком-оруженосцем, несущим позади его щит.

Старый Восток, Восток традиции, не любит одробления жизни, хроматизма копеек, размельчения дня на секунды. Не только узбекская песнь, при встрече с ней моего уха, оказалась строго диатоничной. И шаги здесь диатонично широки, потому что хотят скорее дошагать до бесшажия.

Запад и Восток по-разному видят время. Мы видим его с наших круглых светлых циферблатов, напоминающих диск солнца; это солнце мы каждое утро заводим и прячем в жилетный карман – оно у нас в услужении. У него только три луча: часовой, минутный и секундный. И странно: минутный длиннее часового, хотя мы из этого не решаемся сделать вывод, что минута в наших разд`рганых жизнях оказывается иной раз больше и важнее часа. Восток и сейчас ещё меряет время колебанием длины тени. И не тени солнечных часов, а просто тени, отброшенной столбом, выступом, стеной. Жизнь здесь – говорю о старом, исламистском Востоке – ориентируется не на солнце с его полднем, а на ночь с её... но «полночь» – это уже дробь. Наши пифагорейцы встречали гимном приход солнца. Мусульмане приветствуют намазом – через закат – близящуюся ночь. Жизнь покорно следует за тенью: утром, когда она длинна, и жизнь растягивается во всю длину базаров; к полудню, вместе с укорачивающейся тенью, укорачивается, втягивается в дома и жизнь, и только с наступлением ночи, когда тень поднимается во весь свой рост, Шахразада продолжает прерванный солнцем рассказ.

В сущности, ещё года три тому назад мне удалось, идя как-то по Волхонке, свернуть в Кита Ходжа Ахрар. Это было в дни исчезновения мелочи: из кошельков, кондукторских сумок, кассовых сеток. Как бы хотелось прибавить: и из голов. Увы,

головы наши именно в ту пору, как никогда, были набиты мелочью: желчинками, всплывшими в мозг, самоуколами, психической копотью, забившей все мозговые извилины. Мне предстоял большой конец от Сретенских до Пречистенских. Хотя я и держал в протянутой руке жёлтую рублёвую бумажку, но она провезла меня метров на десять, не более: «нет сдачи» – «сойдите, гражданин». И я пошёл параллельно перегоняющим меня вагонам. Трамваи стали для меня мнимостью, бесполезным грохотом, который лишь отвлекал от моих пешеходных дум. Я мысленно вырезал рельсовый путь из каменной ленты улицы, дома сдвинулись, и уличный извив стал похож на ручьеобразный ход длинных улиц Востока. У перекрёстка сидел мальчонка, подоткнув колени под застеклённый ящик со спичечными коробками. Я помахал ему рублём. Мальчик, откинув стекло, стал отсчитывать пять десятков набитых спичками коробок. Я отрицательно покачал головой: лучше ни одной, чем пятьдесят. И снова трёпаная жёлтая бумажонка вернулась в карман, а я продолжал путь. Минутная стрелка уличных часов, точно стряхивая с себя брызги секунд, дёрнулась и переместилась на деление. Она прошла уже почти полкруга, а мне ещё и шагать и шагать. Дело уйдёт раньше, чем я дойду до него. Но инерция шага продолжала переставлять мои ноги.

Вот киоск. У киоска очередь. Она восково неподвижна, и головы стоящих повёрнуты не к оконцу, а назад: они дожидаются человека с гривенниками и копейками. Бело-синие, жёлтые, зелёные бумажные флажки склоняются перед гривенником, самодовольно разрывающим очередь. Перед ним сторонятся, покорно уступают место: так в Калькутте индийские тюрбаны отжимаются к стене, чтобы пропустить белое кепи.

Иду далее. Замечаю: самый шаг мой из скороступи превратился в размеренную, почти паломническую поступь. Так идут, вероятно, пыльным просёлком, ведущим к Мекке. И серый куб дома, близящийся навстречу, сквозь вечерний сумрак, чем-то напоминает о камне Каабы. Подхожу ближе: нет, дом, как все, в переблеске стёкол и цепью номеров над подъездом. Но у подъездной ступени ссутулившийся нищий. Он до того опечален, что даже не просит.

Бесполезно. Кормившие его копейки, алтыны и пятаки исчезли из обращения. Он сидит над пустой деревянной чашкой, погружённый в горестное созерцание. Как дервиш, который... что за странная мысль: моя жёлтая бумажка падает в чашку.

«Спасибо», – это сказал я, а не он. Рубль за мысль, которая вошла в это мгновение в мои глаза, – это ведь почти даром.

Как-то над ступенями одной из мечетей (имя забыл) я увидел плачущего ребёнка. Его посадили на верхней площадке, но сойти назад он не мог: ступени для него были слишком высоки. Игра в единицы, в целостности, пожалуй, самая опасная из всех игр ума. У нас она привела к «первой заповеди» и витализму.

На старом Востоке она сделала гораздо больше культурных разрушений. Поиски целого, отказ от мейдэ-чуйдэ напоминает процесс раскрытия японских коробочек, вложенных друг в друга. Но есть и разница, она заключается в том, что процесс раскрывания начинается изнутри и что проделывает его одна из коробочек, самая малая, называющая себя «я». Как только она попытается самораскрыться, приподнятая её крышечка упирается в крышку облегающей её большой коробочки, приходится приоткрывать и эту, большую, и писать «я» с большой буквы; и так, пока мысль не попадает в самую большую, герметически запечатанную и поэтому полную тьмы коробку. Пытаться охватить весь мир – это значит не сделать ни одного шага.

Ещё с отроческих лет в память мою попала – невесть откуда – легенда о некоем учёном мусульманине, который хотел постигнуть всё целое, но дела которого постоянно заставляли путешествовать. Не позволяя всё же делам вторгаться в дело жизни, учёный возил за собой на двенадцати верблюдах библиотеку. Но дела, очевидно, мстили за уничтожение – и учёный стал постепенно беднеть. Постепенно сокращая свою библиотеку, отбирая самое ценное и из ценного ценнейшее, он возил её в своих странствиях уже не на двенадцати, а на шести верблюдах, потом на двух, и наконец – на одном. Но случилось, что последний верблюд пал в пути, вдалеке от жилья. Бедный эфенди принужден был отобрать наиценнейшее среди ценнейшего, так как был стар и не в силах поднять на себя всего книжного груза. Но мейдэ-чуйдэ, мелочь продолжала злобствовать, и дряхлый

постигатель всецелого должен был продать последнюю пачку книг. Перед тем, как расстаться с друзьями своей мудрости, он сделал из них выписки, отжал сок смыслов, из выписок снова выписки, пока не дошёл до фразы «Аллах иль Аллах, Мухаммед Россулях». Написав эту строку на дощечке, он повесил себе её на шею и стал у перекрестка, как нищий.

Возможно, что легенда возникла среди одной из дервишских сект, дивана, чьи исступленные пляски ввинчивания в пустоту, кружения оси, потерявшей обод, можно было ещё так недавно видеть около Лаби-хауза в старой Бухаре.

Мне удалось наткнуться, правда, на довольно смутные, исторические указания, говорящие о том, что торговое посольство Небесной Империи, доехавшее в конце XV столетия до Амударьи было очень огорчено и разочаровано, узнав, что Аму во что-то ещё впадает и что вообще за степями Двуречья есть ещё какой-то мир. До сих пор им думалось, что степи эти постепенно переходят в ничто. Вероятно, эти купцы были по тому времени очень просвещёнными людьми. И, конечно, нельзя не посочувствовать их философическому огорчению. Действительно, если мир можно понять только как целое, как великую единицу, то выгодно для познания, чтобы он, мир, был по возможности меньше. Иначе какой же смысл заниматься смыслом.

Мы, европейцы, не относимся с пренебрежением к мейдэ-чуйдэ. Мы не стыдимся не только учиться на медные гроши, но и изучать те медные гроши, на которые разменена ценностность мироздания. Мы благодарны каждой крупнице знания. Мы начинаем не с суммы, а со слагаемых. Потому что сумма – это нищенская сума любого из своих слагаемых. Если подходить к вопросу чисто методологически.

Человек, ставший меж двух наших эпох, средневековья и современности, Картезиус-Декарт, в ответ на письмо своего престарелого школьного учителя, напоминавшего, что он ему «учитель», отвечал: о, да, он готов назвать себя «почтительным учеником любого дождевого червя», попавшего под его «скальпель и лупу». Ступени наших лестниц, по которым мы ходим, и ступени наших логических скал, по которым мы мыслим, всегда часть, дробь по отношению к росту идущего и поперечнику

сознания. Но сами мы, в самомнительнейшие минуты нашей жизни, когда нам кажется, что наше «я» есть завершённая, единица, не более, чем «дробь, вставшая на цыпочки»: это, собственно, не моя мысль, а мысль одного из моих персонажей. Иной раз выдуманное выдумает такое, к чему лишь позднее приходит выдумавший выдумщика. Так или иначе, если дробь, привстав на цыпочки, и может дотянуться до себя, как до единицы, то поза эта слишком утомительна и не может долго длиться.

Уже на обратном пути из Узбекистана, листая свои записи, я увидел сквозь их строки новеллу, точнее, костяк новеллы, который когда-нибудь, может, и обростёт живой тканью. А пока перескажу его с остеологической сухостью.

Мелкий советский служащий. Допустим, счетовод. Каждый день от дома до службы и обратно. И каждый день счётные костяшки под пальцем – по стержню – от края рамы до рамного края, и обратно. Но человек, служащий в прислугах у чужих цифр, всё же сын запада. Ему знакома тяга пространства. И раз в году, получив двадцать один день в собственность, он выбирает, после долгих раздумий, какой-нибудь дальний маршрут. Счетовода притягивают белые пятна глобусов и ландкарт. Его подштопанным подошвам хочется ступить туда, куда «не ступала ни одна человеческая нога». Но белые пятна для избранников, для любимцев бога путей. Счетоводам же надо ездить в Феодосию или в Ейск. И лишь в крайнем, крайнем из крайних случаев... и герой мой берёт билет до одного из городов Туркестана. Дни убывают быстро, деньги ещё быстрее. Еле достигнув цели, приходится в очередь за обратным билетом. Вдалеке, за голубоватой завесой воздуха виднеются смутные контуры предпамирских гор. Но Предпамирье – это уже для бухгалтера или заведующего канцелярией. А счетоводам надо назад. В последний вечер перед отъездом бродит он от чайханы к чайхане и мимо затухающего базара. Неожиданно знакомство у опорожненной пиалы. Сначала встретились глазами, потом навстречу друг другу слова. Новый знакомец немолод; редкие длинные зубы из-под нестриженных усов, грязноватая чалма, свесившая плоский язык на плечо, протёртый, выцветший халат. Но по-русски говорит довольно бойко, умеет спрашивать, качать в такт ответу головой и сочувствующе

прицмокивать. Разговорившийся счетовод от закончившегося путешествия переходит к неначатым, настоящим, делится огорчениями и надеждами, и в откровенности своей доходит даже до мечты о белых пятнах. Слушатель его полон сокрушённого сочувствия и готовности помочь. Он придвигается ближе к собеседнику, взволнованно притрагивается к его колену и рукаву, оглядывается по сторонам и переводит голос в шёпот. Помочь бы можно. За самые скромные деньги. Но... приезжий заинтригован.

Спрашивает: как? В ответ отрицательные кивки головой. Он настаивает. Тогда новый друг, пододвинувшись губами к уху собеседника, сообщает: у него есть пузырёк – от прадеда к деду и отцу, от отца к нему переходил он по наследству – а в пузырьке под шестизвёздной шахрудовой печатью запрятана...

Что? Снова долгие отказные движения головой, вздохи о нерушимости печати и тайны. И наконец, под затиском печати там хранится тайное средство для выведения белых географических пятен. Приезжий хохочет, абориген то же, но не очень весёлым и вместе с тем прощающим смехом. Так мудрые смеются неверию невежд. И вскоре гость Востока даже без легчайшей улыбки слушает брызгливый причёт человека в чалме: люди оттуда, из Москвы, дети-люди, они, как тень карагача, движутся сперва вперёд, потом назад и опять вперёд; а сам карагач смеётся над своей тенью и не ходит ни вперёд, ни назад, а только невидимо для глаза вверх и вниз; их глобусы, по которым учатся в школе дети этих детей, глобусы, круглые, как карагач, вертятся вокруг своих стволов; и глаза людей с заката тоже кружат, ища новое и новое, это маленькие глобусы, заболевшие вертячкой и ворочающиеся с боку на бок, пока их не прикроют белым пятном смерти; они истирают свои подошвы о землю, гоняются за солнцем, убегающим в закат, – а между тем достаточно одной капли из-под шахрудовой печати на кончик вот этого платка, достаточно чуть потереть смоченным углышком о белое пятно глобуса и... И? – спрашивает гость с запада. Он не всё понял в этой дивагации, но однообразное кружение слов, маятниковое – в такт словам – качание чалмовой свеси передалось его мозгу. В мыслях счетовода уже перекатываются монеты. Если экономить в

дороге, то, может быть, у него хватило бы на две-три капли. А продавец шахрудовой тинктуры продолжает нахвал товара: о, он знает силу своего пузырька, он мог бы сам, при его помощи, обойти всю землю, ни разу не коснувшись её ступней, но зачем ему земля, он охотно готов уступить её другу; а ему, владельцу тайны, ничего не нужно, разве несколько затяжек наргиле и глоток шорбы в день; друзья познаются по их благодарности. Пусть саиб странствует, а он, сидя на своей старой циновке, будет смотреть, как странствует дым над водой его кальяна.

И покупатель из собеседника превратился в спутника. Двое молча идут по пустому руслу ночной улицы. Отщёлк всячего замка, низкая притолока, сараеобразная комната без окон. Темнота неохотно отступает от огня ночника к углам. В одном из них, среди всякого хлама, железным меридианом кверху поваленный наземь глобус; он на подкривленной у основания оси, но, очевидно, старинной работы. Он не знает или притворяется, что не знает, ряда давно открытых островных точек, стран и даже морей. Он весь точно в хлопьях белого, точнее порыжелого мартовского снега. Продавец присел у глобуса на корточки и начинает свои манипуляции. Вот блеснула пузырьчатая скляночка. Вскрыв её, человек, распластавший полы своего халата крыльями по земле, нюхает сам и приближает склянку к ноздрям наклоненного над глобусом покупателя. Ещё? Можно и ещё. Аромат шахрудовых капель горьковат, прян и будто из уколов. «Люди собирают мир в глаза – они не знают, что его можно вынуть из глаз, что можно сжать горсть звёзд в небо вот так», – и продавец делает движение зажатым в пригоршни смоченным платком. Перед глазами покупателя тинктуры промельки искр, разгорающихся в пламена. Сквозь их лет он уже не совсем ясно видит, как глобус поворачивается под пальцами странного знакомца, и словно не глобус даже, а голова, его собственная голова, пересаженная с шеи на железную ось, мягко поддаётся под толчками рук. Вот пёстрокрылый выбрал: приостановив кружение, он притрагивается влажным углышком ткани к оваловидному белому пятну.

«Такла-Макан», – шепчет он, подморгнув совиным веком, – и тотчас же пятно начинает расти и распестряться: жёлтая зыбь

песков, змеевидные выгибы безлистого саксаула, чёрный провал колодца с круглой вырезкой из неба, упавшей на дно. Внезапный ветер бросает навстречу глазу кружащийся клуб песку; клуб, тьма пустыню, вворачивается в себя, оваловидно стягиваясь, – и снова перед глазами на вспучине глобуса небольшое, сейчас чуть влажное овальное пятно. «Кутб шымалы» – и из-под трущих движений ткани выступают стеклисто мерцающие полярные льды; солнце вечного дня остановилось, точно заледенев у горизонтного круга; лучи его, ударившись о ледовые грани, разбились на пёстрый дребезг спектра; чья-то жирная, сизая лопасть выблеснулась из полыни и снова нырнула вглубь. Холод так силён, что кругозор начинает стягиваться; круглый горизонт, ёжась, у малывается и набегаёт на зрение; от страшного сжима сквозь пейзаж проступили его рёбра – это радиально расположенные чёрные линии, ясно теперь различимые сквозь прозрачность льдов; видны даже цифры – 85№ – 86№ – 87№... и снова круглое арктическое пятно глобуса.

Не буду продолжать. Развернуть ряд прозревающих глобусных белым дело писательски нетрудное. Ясна и сюжетная концовка. Она вряд ли допустит много вариантов. Только боюсь, что преждевременным рассказом о своём будущем рассказе я у него отнял право на рождение. Недозревший плод можно, конечно, вынуть из чрева. Но как его вложить обратно для дорождённости – наукой до сих пор не дознано.

Запад и Восток сталкиваются не мирозерцаниями, а миром и созерцанием.

Мы строим мир, тщательно освобождая его от налипей созерцания, конденсируем действительность в чистую действенность; мы учим наши ноги широкому спортивному шагу, а не старовосточному подгибу пяты под пятау. Восток же старых мектебэ, седобородых муталлимов, домулля, затейливых пожелтелых писаных китабов – это созерцания без мира, пустая чашка нищего в городе, лишённом мейдэ-чуйдэ, колодец без воды, оставившей после себя лишь солевой осадок, бессильная попытка взять ступень, превышающую шаг.

Самые уклады этих противостоящих жизней таковы, что попытка быть исключением карается бытом. Так солипсист Штирнер,

провозгласивший себя «единственным», а мир своей «собственностью», принужден был сесть в тюрьму – и даже не в одиночную камеру – за неуплату долгов кредиторам, находившимся в его «собственном» мире. Ещё ранее философ Фихте попробовал разжаловать мир в простое «не-я», объявив последнее «манифестацией» я. Но однажды случилось так, что студенты, протестуя против некоторых выводов (несомненно, логически честных и последовательных), устроили манифестацию пред стенами фихтовской квартиры и побили профессору окна. Тайный советник Гёте, возглавлявший просвещение Веймарского герцогства, хотя и заступничал за пострадавшего, но в письме к одному из своих приятелей писал приблизительно такое: случай, конечно, прискорбен, но спиритуалисту господину Фихте полезно всё-таки удостовериться, что «не-я» не спрашивает разрешения у «я» на битьё стекол. Арабский философ Аль-Газари жил ещё во время слюдяных окон (XI в.) и не терпел от вторжения не-я, наоборот, жизнь его, по преданию, проходила при дворах ряда арабских властителей вполне благополучно. Но тем не менее он учил, что философов, отрицающих наличие зла в мире, следует бить палками по пяткам до тех пор, пока они не признают ошибочности своего миропредставления. Поскольку, как указано, аргументатор этот был придворным мудрецом, то нельзя считать доказанным, что максима эта не получала никогда практического осуществления. Yol ýazgylary